

1

Вот он я, вверх ногами в женщине. Руки терпеливо сложены, жду, жду и думаю, в ком я и что будет. Глаза ностальгически закрываются, когда вспоминаю, как плавал в своей прозрачной сумке, сонно булькая мыслями, плавно кувыркаясь в персональном океане, мягко натываясь на прозрачные границы моей темницы — на чуткую мембрану, ловящую приглушенные голоса заговорщиков в их гнусной затее. Это было в моей беспечной молодости. Теперь я прочно перевернут, ни одного свободного сантиметра вокруг, колени прижаты к животу, мысли полностью включены, и голова помещена в отведенное ей пространство. У меня нет выбора, день и ночь мое ухо прижато к кроватной стенке. Я слушаю, мысленно делаю заметки, и я обеспокоен. Слушаю постельный разговор о планах умерщвления, и в ужасе от того, что ждет меня, во что меня могут впутать.

Я погружен в абстракции, и только умножение связей между ними создает иллюзию известного мира. Когда я слышу «синее», которого никогда не видел, воображаю некое психическое событие, довольно близкое к «зеленому» — которого тоже никогда не видел. Себя считаю невинным, не обремененным обязанностями и обязательствами, духом вольным, несмотря на ограниченность жилья. Никто не может мне перечить и выговаривать, нет ни имени, ни прошлого адреса, ни религии, ни долгов, ни врагов. В моем списке дел, если бы он существовал, — только предстоящий день рождения. Вопреки тому, что говорят генетики, я остаюсь — или был — *tabula rasa*, чистой доской. Но скользкой пористой доске не найдется применения ни в классе, ни на крыше — доска сама на себе пишет и растет день ото дня, становясь все менее чистой. Я считаю себя невинным, но, кажется, участвую в заговоре. Моя мать, дай бог здоровья ее неутомимо хлюпающему сердцу, кажется, к нему причастна.

Кажется, мама? Нет, не кажется. Так оно и есть. Причастна. Я с самого моего начала знал. Дай вспомнить его, этот миг творения, с которым родилось мое первое понятие. Давно, много недель назад, нервная бороздка сомкнулась, сделавшись позво-

ночным столбиком, и миллионы молодых нейронов, трудолюбивых, как шелкопряды, сплели из своих аксонов роскошную золотую ткань моей первой идеи, такой простой, что сейчас она от меня частично ускользает. Идея была «Я»? Слишком себялюбиво. «Сейчас»? Излишне драматично. Тогда что-то, предшествующее им, содержащее их в себе, одно слово, передаваемое мысленным вздохом или обморочным приятием, чистым бытием, что-нибудь вроде... «Это»? Слишком манерно. Но уже ближе: моя идея была — «Быть». Или, если не так — то ее грамматический вариант: «Есть». Это мое исконное понятие, и вот он, коренной вопрос — «Есть». И только. В духе «Es muss sein»¹. Начало сознательной жизни стало концом иллюзии небытия и вспышкой реальности. Торжеством реализма над магией, «есть» над «кажется». Моя мать «есть» участник заговора, и, следовательно, я тоже участник, если даже мне суждено в итоге его сорвать. Или, если я, нерасторопный дурак, рожусь с опозданием, — отомстить за него.

Но я не ною, не жалуясь на судьбу. Я с самого начала знал, как только развернул из золотой парчи мой дар сознания, что мог по-

¹ «Так должно быть» (нем.). Надпись Бетховена на рукописи последней части квартета № 16.

явиться в худшем месте и в гораздо худшее время. Общие условия уже известны, по сравнению с ними мои домашние невзгоды ничтожны, ими надо пренебречь. А радоваться есть чему. Я унаследую современные условия (гигиена, выходные дни, болеутоляющие, настольные лампы для чтения, апельсины зимой) и буду обитать в привилегированном уголке планеты — в сытой, свободной от эпидемий Западной Европе. Древней Эуро-пе, склеротической, относительно доброй, мучимой призраками, бессильной перед хулиганом, неуверенной в себе, манящем прибежище для миллионов несчастных. Непосредственным моим окружением будет не цветущая Норвегия, первая среди моих предпочтений по причине ее гигантского суверенного резерва и щедрого социального обеспечения; не вторая по желательности Италия, с ее национальной кухней и солнечным упадком; ни даже третья моя фаворитка, Франция, с ее пино-нуар и веселым самоуважением. Нет, я унаследую нечто меньшее, чем Соединенное Королевство, возглавляемое почитаемой старой королевой, где принц-бизнесмен, знаменитый добрыми делами, своими эликсирами (экстракт цветной капусты для чистки крови) и неконституционными вмешательствами, нетерпеливо ждет короны. Здесь будет мой дом,

и он вполне годный. Я мог появиться в Северной Корее, где принцип наследования так же неоспорим, но еды и свободы нехватка.

Как это я, не юный даже, даже не вчера родившийся, могу столько всего знать или знать достаточно, чтобы в столь многом ошибаться? У меня свои источники. Я слушаю. Моя мать Труди, когда с ней нет ее друга Клода, любит радио и предпочитает музыке разговоры. Кто при зарождении Интернета мог предвидеть беспрерывный рост радио или возрождение архаического слова «вещание»? Сквозь прачечные звуки желудка и кишечника я слышу новости, родник всех дурацких снов. Не щадя себя, внимательно слушаю аналитику и споры. Повторение каждый час, сводки раз в полчаса мне не надоедают. Терплю даже «Всемирную службу Би-би-си» с ребяческими вскриками синтетических труб и ксилофона между сообщениями. Посреди долгой тихой ночи могу поддать матери ногой. Она проснется, сон нарушен, включит радио. Жестокий спорт, я знаю, но к утру мы уже лучше информированы.

И она любит интернет-подкасты и развивающие аудиодиски — «Разбираемся в винах» в пятнадцати частях, биографии драматургов семнадцатого века и мировую литературную классику. «Улисс» Джеймса Джойса ее

усыпляет, а меня, наоборот, приводит в трепет. В первые недели, когда она вставляла наушники, я слышал ясно: звук отлично проходит по челюстной кости, по ключице, вниз по скелетной конструкции и, мгновенно, через амнион. Даже телевизор передает большую часть своего скудного продукта через звук. И когда мама встречается с Клодом, они порой обсуждают состояние мира, чаще в скорбных тонах, хотя сами замышляют сделать его еще хуже. Помещаясь там, где я есть, и, не имея других занятий, кроме как растить тело и ум, я впитываю все, даже пустяки — а они в изобилии.

Потому что Клод — это человек, который любит повторяться. Человек рефренов. Пожимая руку незнакомому — я слышал это дважды, — он говорит: «Клод, как Дебюсси». Как же он не прав! Этот Клод — как торговец недвижимостью, он ничего не сочиняет и не изобретает. У него появляется мысль, он произносит ее вслух. Потом опять появляется, и — почему бы нет? — опять произносит. Вторично колебля воздух своей мыслью, он получает удовольствие. Он знает, что вы знаете, что он повторяется. А вот чего он не может знать — что вас это не так радует, как его. Это, как я узнал из рейтинговой лекции, называется парадоксом самореференции.

Вот пример клодовского дискурса и того, как я набираю информацию. Они с матерью договорились по телефону (я слышу обоих абонентов) встретиться вечером. Не учитывая меня, как у них повелось, — ужин вдвоем при свечах. Откуда я знаю об освещении? Потому что в условленный час, когда их подводят к столу, слышу жалобу матери. У всех на столах горят свечи, а у нас — нет.

Затем слышится раздраженное пыхтение Клода, повелительное щелканье пальцев, подобострастное бормотание, исходящее, догадываюсь, от официанта, щелчок зажигалки. Теперь не хватает только еды. Но у них в руках увесистые меню — нижний край ее экземпляра я чувствую поясницей. Теперь я должен выслушать неизменную реплику Клода по поводу терминов меню — как будто он первым на свете заметил эти мелкие нелепости. Он зачитывает: «Жаренный на сковороде». Что такое «на сковороде», как не лицемерное благословение вульгарному и бесполезному жаренью? Где еще можно жарить эскалоп с чили и соком лайма? В яйцеварке с таймером? Прежде чем двинуться дальше, он повторяет свою мысль, меняя акценты. Затем его вторая любимая мишень, американский импорт: «ручной нарезки». Я безмолвно декламирую его речь, пока он